

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ЯЗЫКОВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ЛИНГВИСТА

© 2010 г. В. М. Алпатов

Различия в описаниях языков могут быть обусловлены не только различиями концепций их авторов, но и влиянием языка, на котором пишет свои работы лингвист. Это влияние особенно явно в случае исконных лингвистических традиций (европейской, арабской, китайской и др.), но может проявляться и в разных национальных вариантах европейской традиции.

The difference of the linguistic descriptions can be caused not only by conceptual difference but by the influence of the language of their author. This influence is especially evident in the case of the primordial linguistic traditions (European, Arabic, Chinese etc.) but it is possible in the different national versions of the European tradition.

Обычно считается, что тот или иной язык в идеале должен описываться на основе некоторых общих принципов и методов, единых для каждого исследователя. На деле это, конечно, не всегда так. Хорошо известно, что различия в описаниях могут быть обусловлены различиями теоретических и методологических концепций, разделяемых их авторами. Реже обращают внимание на различия, связанные с таким, казалось бы, далеким от научности фактором, как влияние языка, на котором пишет свои работы лингвист и который обычно совпадает с материнским языком исследователя. Но не обязательно: если такого совпадения нет, возможно влияние сразу двух языков. Впрочем, вопрос этот требует дополнительного обсуждения.

Влияние особенно явно в случае, когда традиции описания языка развивались независимо друг от друга. Каждая исконная лингвистическая традиция исходила из строя своего языка. Китайская традиция не знала грамматики как жанра исследования, а грамматические явления, если и фиксировались, описывались с помощью словарей (“словари пустых слов”). Не было в ней также, например, понятий имени и глагола, присутствовавших во всех других традициях, включая отделившуюся от китайской японскую. Всё это естественно объясняется строем изолирующего китайского языка. Жесткая структура арабского консонантного корня стала причиной выделения корня как одной из базовых единиц с самого начала существования арабской традиции, тогда как античные и средневековые европейские грамматисты обходились без понятия корня, как и аффикса (подробнее об этом см. [1; 2, с. 9–41]). Но к этому вопросу я еще вернусь. Конечно, не все особенности традиций можно объяснить

строем языков, лежавших в их основе: санскрит и древнегреческий язык типологически сходны, но соответствующие традиции значительно различаются. Однако данный фактор, безусловно, значим.

Влияние базового языка может быть связано не только с особенностями его строя. Япония, уже обладая к началу европеизации (50–60-е гг. XIX в.) развитой лингвистической традицией, затем довольно быстро освоила идеи и методы европейской описательной грамматики. Позже в этой стране без значительных трудностей прижились структурализм и генеративизм. Историческое языкознание в той его части, которая занимается анализом письменных памятников, также получило в Японии значительное развитие: и здесь можно было опираться на давние традиции. Но уже полтора столетия там с большим трудом идет освоение сравнительно-исторического языкознания. Методика сравнения языков и установления регулярных соответствий всегда приживалась с трудом, а генетическая общность постоянно смешивалась с типологическим сходством. Причины этого понятны. Сама языковая ситуация в Европе способствовала как массовому двуязычию, так и стремлению сопоставлять материальные сходства в языках, что закономерно привело к формированию индоевропеистики. А в Японии, долго не контактировавшей с внешним миром, сама идея сравнения языков появилась очень поздно. И японский язык, близкие родственники которого давно исчезли, не имеет явных материальных сходств ни с одним языком. Эти сходства с большим трудом выясняются лингвистами (пожалуй, единственный язык, где такие сходства очевидны любому носителю языка, – английский, но, разумеется, это результат недавних заимствований).

Поэтому действительно трудно освоить сложнейший лингвистический метод, исходя из японского языка как точки отсчета. Сейчас, впрочем, в японской лингвистике есть всё, включая индоевропеистику, но это вторичное явление. А ведущие исследователи генетических связей японского языка по-прежнему работают вне Японии.

Однако различия базового языка могут проявляться и внутри науки, генетически восходящей к античной традиции. Ограничимся расхождениями между русским и некоторыми другими вариантами европейской традиции.

Автор данной статьи однажды столкнулся с такой ситуацией. Для зарубежного издания я решил предложить английский перевод статьи по японской грамматике, ранее публиковавшейся по-русски. В ней важную роль играло деление слов на *знаменательные* и *служебные*. Перевод этих терминов вызвал трудности, и для первого термина я в одном из словарей нашел ранее мне не известный эквивалент *autosemantic words*. Редактор издания в ответ прислал письмо, где требовал не просто убрать нетрадиционный термин, но исключить само понятие. Сделать это означало писать новую работу, и статья на английском языке так и не вышла. У нас понятия знаменательного и служебного слова проходят в школе, а англоязычный вариант европейской традиции обходится без них. Несамостоятельные слова иногда обобщенно называют *particles*, но чаще так именуют более узкий класс слов, а подвести под этот термин, скажем, артикли и тем более вспомогательные глаголы трудно. Для другого же класса принятого эквивалента вообще нет.

Отмечу, что японская и китайская традиция здесь ближе к русской, чем к англоязычной. До европеизации Японии вообще не было общего термина для слова, а были два термина для знаменательных и служебных слов, соответственно *kotoba* и *tenioha*. (Ср. *полные слова* и *пустые слова* в китайской традиции.) Но и после появления в конце XIX в. обобщающего термина деление слов на два класса играет во многих японских концепциях основополагающую роль. Например, один из крупнейших японских лингвистов XX в. Токиэда Мотоки выделял две сферы языка: выражение действительности и выражение субъективных чувств говорящего (см. [3, с. 102–110]). Само это разделение встречалось и у других лингвистов, например, диктум и модус у Ш. Балли; но если у Балли каждая из сфер имеет разнообразные средства выражения, то у Токиэда они жестко связываются со знаменательными и служебными словами.

На английский язык трудно перевести привычные для нас термины вроде *знаменательное слово* или *придаточное предложение*, но и на русский язык не легче перевести *phrase* или *clause*. *Фраза* и *phrase* – не одно и то же, а *clause* можно перевести разве что как *клауза*; последний термин сейчас уже стал появляться в русскоязычных работах, особенно типологических, но это не внедрение нового термина, а перенос на русскую почву понятия из иной традиции. Подобные случаи сейчас стали довольно частыми, но это уже лингвистический аспект глобализации. И все перечисленные термины не являются специфическими для какого-либо направления, с ними носители соответствующих языков знакомятся еще в школе, и их могут использовать лингвисты, придерживающиеся разных теоретических взглядов.

Еще пример. Существуют два основных способа представления синтаксической структуры предложения: грамматика составляющих (скобочная запись) и грамматика зависимостей (деревская запись). Каждый из способов имеет плюсы и минусы, в ряде работ они систематически сопоставляются (см., например, [4, с. 101–105]). Но имеется еще один аспект, на который внимание автора статьи еще в 60-е гг. обратил А.Н. Журинский, талантливый лингвист, к сожалению, не во всём успевший реализоваться в своих публикациях; см. о нем [5; 6].

Хорошо известно, что в ряде стран Запада, включая страны английского языка, давно господствует грамматика составляющих, тогда как в нашей стране она не получила большого распространения, но уже второе столетие развивается грамматика зависимостей [4, с. 106]. Деревья зависимостей на Западе часто именуют графами Теньера, а их использование всегда связывают с именем этого французского ученого. Между тем Л. Теньер был славистом, бывал в СССР, знал русскую традицию и взял идею деревьев зависимостей именно оттуда, о чем на Западе обычно не упоминают. У нас же такие деревья использовались и в школьном обучении. Такой подход удобен при свободном порядке слов: при изменении порядка дерево остается таким же. Однако грамматика составляющих, имея ряд преимуществ, требует усложнения правил в случае так называемых разрывных компонентов, когда наиболее тесно синтаксически связанные слова далеко отстоят друг от друга, а структуры, отличающиеся лишь порядком, если он свободен, должны трактоваться по-разному. Как когда-то говорил А.Н. Журинский, носитель русского языка, прежде всего, обращает внимание на синтаксические связи, маркируемые согласованием и управлением.

ем, не считая релевантным порядок слов, а носитель английского языка исходит, прежде всего, из порядка, не имея часто опоры в согласовании и управлении. Для носителей английского языка по сравнению с носителями русского языка более существенно представление о корреляции между степенью синтаксической и линейной близости слов.

Знаменит пример грамматически правильного предложения у Н. Хомского *Colorless green ideas sleep furiously*. Его буквальный перевод на русский язык трудностей не представляет, хотя его чаще переводят с изменением порядка слов: не *Бесцветные зеленые идеи спят яростно*, а *Бесцветные зеленые идеи яростно спят*: оба порядка сохраняют грамматическую правильность, но порядок с препозицией обстоятельства более естествен. Но Хомский тут же приводит пример грамматически неправильного предложения, полученный преобразованием того же предложения: *Furiously sleep ideas green colorless*. Слова поставлены в обратном порядке. Но дословный русский перевод и здесь оказывается грамматически правильным, поскольку правила порядка слов существенно иные (пусть базовый порядок слов SVO тот же самый), зато чтобы сделать русское предложение грамматически неправильным, достаточно заменить одну фонему (или букву), скажем, *спят* на *спит*. Разумеется, нельзя отрицать общелингвистический смысл понятия грамматической правильности (сформулированного еще в XIII в. модистами, изучавшими типологически близкий русскому латинский язык). Но уже представления о причинах ее нарушения могут быть у носителей русского и английского языков разными. Н. Хомский всегда приводит только примеры из английского языка, считая, что всё то, что верно для английского языка, верно и для языка вообще. Но случайно ли, что до сих пор, насколько мне известно, нет сколько-нибудь полной порождающей грамматики для какого-либо славянского или классического языка, то есть для языка со свободным порядком слов?

Еще одна область – типология порядка слов. Едва ли не все американские исследования в этой области, включая широко известную работу Дж. Гринберга [7], основаны на понятии базового порядка слов, то есть такого порядка членов предложения, который в языке либо единственно возможен, либо, если допустимы перестановки, встречается чаще всего. При таком подходе русский и английский языки почти по всем параметрам оказываются в одном классе SVO, хотя не только лингвисты, но и все носители каждого из этих языков, которым приходится учить другой

из них, знают, насколько различен в них порядок слов, прежде всего, степенью строгости. А единственная известная мне типология порядка слов, основанная, в первую очередь, именно на степени строгости, предложена не в США, а в СССР; речь идет о типологии А.А. Холодовича [8]. Правда, такая типология, возможно, не случайно, осталась лишь на уровне общих предложений и не была, в отличие, скажем, от типологии Гринберга, применена к конкретным языкам. Тем не менее, различие подходов очевидно, и трудно его объяснить чем-либо, кроме подспудного влияния базового языка.

Теперь обратимся к работе, казалось бы, относящейся к совершенно другой области лингвистики. Это давно отнесенная к лингвистической классике книга А. Мейе “Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков”. В ней, в частности, говорится о структуре индоевропейского слова: «Индоевропейский морфологический тип был чрезвычайно своеобразен и вместе с тем крайне сложен. Слово являлось в нём лишь в сочетании со словоизменительными элементами: во французском языке есть слово *piéd* “нога”, а в индоевропейском были лишь именит. падеж единств. ч. **pōts...*, родит.-отложит. падеж единств. ч. **pedé/ós*, именит. падеж множеств. ч. *pódes* и т.д. Иначе говоря, “слово” со значением “нога” не выступало отчетливо... В латинском языке для значения “волк” нет ни слова, ни выделяемой основы; есть только совокупность форм: *lupus, lūpe, lupum, lupī, lupō, lupōs, lupōrum, lupis*. Нет ничего менее ясного, чем подобный прием. Итак, все индоевропейские языки в большей или меньшей степени, одни раньше – другие позже, обнаружили склонность упростить или даже вовсе упразднить словоизменение и довольствоваться словами как можно менее изменяемыми, а в конце концов и вовсе неизменяемыми» [9 с. 426–427].

А. Мейе, рассуждая о морфологической и синтаксической структуре индоевропейского праязыка, на деле часто описывал структуру наиболее древних известных нам языков индоевропейской семьи, более всего древнегреческого. Но нам сейчас важнее, что Мейе писал по-французски, в расчете на франкоязычного читателя и исходил из структуры этого языка как эталона. Описываемый морфологический тип требует для читателей книги специальных пояснений и характеризуется как “чрезвычайно своеобразный”, связанный с “неясностью” выражения значений. По сравнению с этим упразднение словоизменения, происходившее якобы во всех индоевропейских языках, пусть с разной скоростью, выглядит

как естественное явление. Разумеется, Мейе знает о сохранении “богатого склонения” в славянских языках [9, с. 437], но об этом упомянуто лишь вскользь.

Показательно, что Р.О. Шор, автор примечаний к русскому изданию А. Мейе, специально отмечает: “Как понимание структуры отдельного слова..., так и понимание структуры предложения древнейших индоевропейских языков не представляет с точки зрения русского языка – языка синтетического строя – тех затруднений, которые оно представляет с точки зрения французского языка – языка аналитического строя... В этом нетрудно убедиться, сопоставляя русские переводы с греческими примерами в этой части книги” [9, с. 500]. То есть, представление о слове у французских и русских читателей книги разное, а строй древнегреческого языка (как и латыни и санскрита) гораздо легче освоить русскому, чем французскому.

Представление о слове, “являющемся лишь в сочетании со словоизменительными элементами”, отразилось и в античной традиции, где не было понятий корня и аффикса, а образование форм, отличных от первичных (косвенных падежей, форм глагола, исключая 1 л. ед. ч. презенса), рассматривалось как изменение всего слова (под словом понималась первичная форма). Появление понятий корня и аффикса в европейской традиции обычно связывается с первой в Европе грамматикой древнееврейского языка И. Рейхлина (начало XVI в.), то есть с влиянием иной традиции. Традиционный подход (иногда именуемый моделью “слово – парадигма” [10, с. 31]) в русском языкознании до некоторой степени сохранился до сих пор, хотя обычно выступает вместе с более поздним подходом (модель “морфема – слово”). Школьная формулировка “слово состоит из приставки, корня, суффикса и окончания” отражает более новый подход, но и древняя традиция остается живучей. Это показывают как внутренняя форма употребляемых по сей день античных терминов *склонение*, *спряжение*, *словоизменение*, так и поныне встречающиеся в традиционной русистике формулировки о том, что лексическое и грамматическое значения присущи не основе и аффиксу соответственно, а слову в целом. На основе материала афазий есть основания считать, что традиционный подход психологически наиболее адекватен [11].

В английской или французской традиции модель “слово – парадигма”, видимо, уже не существует даже в отношении тех случаев, где словоизменение еще сохранилось. Об этом косвенно

свидетельствуют и формулировки А. Мейе. Еще в большей степени наталкивает на такую мысль распространение в англоязычной лингвистике грамматики составляющих на отношения не только между словами, но и между морфемами внутри слова. И у дескриптивистов, и у генеративистов разложение предложения на непосредственно составляющие обычно доходит до уровня морфемы, а слово либо выступает как промежуточная единица, либо не выделяется вообще. Такой подход несовместим с идеей образования, например, косвенных падежей как изменения целого слова. Отечественная наука (исключая случаи прямого заимствования американских концепций) такой подход не свойствен.

Указанные различия могут проявляться при описании не только базового языка, но и иных языков, в том числе языков иного строя. Рассмотрим лишь один пример: трактовку приименных, в частности, падежных грамматических показателей в японском языке.

Японский язык – в основном агглютинативный с некоторыми чертами флективности, проявляемыми исключительно в предикативных частях речи (глаголе, предикативном прилагательном, связке). Имена (существительные, включая числительные и большинство местоимений, в том числе личные) сочетаются с большим количеством чисто агглютинативных, то есть не связанных с варьированием на морфемных стыках грамматических элементов, синтаксически не самостоятельных и не имеющих отдельного ударения. Среди этих элементов сразу по нескольким основаниям выделяется особый подкласс элементов, по функциональным свойствам издавна получивших в русской и западной японистике название падежных. По значению и употреблению могут быть выделены показатели именительного, винительного, дательного, родительного, а также совместного и нескольких локативных падежей.

Функциональные характеристики падежных показателей в японском языке не вызывают больших разногласий, а если вызывают, то примерно те же, что и для русского языка (например, в японистике, как и в русистике, есть и сторонники, и противники концепции семантического инварианта для каждого падежа). Но споры шли (скорее здесь можно уже употребить форму прошедшего времени) о формальном статусе падежных элементов: являются ли они отдельными словами или аффиксами. Как известно, в русской традиции этот вопрос определяет и многое другое: для большинства отечественных лингвистов разные решения этого вопроса автоматически влекут за

собой то или иное решение вопроса о категории падежа. Если эти показатели (или хотя бы часть из них) – аффиксы, то такая категория существует; если это отдельные, пусть служебные слова, то ее нет, и можно выделять лишь послеложные конструкции. И следующий шаг: грамматическая категория – всегда система, а в случае множества конструкций со служебными словами система обычно уже не обнаруживается. Возможно, этот фактор наряду с другими мог воздействовать на Е.Д. Поливанова, взгляды которого я рассмотрю ниже.

Впрочем, данная проблема ни для японской науки, ни для западной японистики никогда не была существенной. В Японии национальные представления о слове довольно своеобразны (см. [12, с. 25–31]), но это своеобразие в большей степени проявляется в трактовке предикативных синтагм, а система имени, по японским представлениям, устроена достаточно просто: имеется неизменяемое слово, к которому присоединяются по определенным правилам служебные слова разных классов, также неизменяемые. Как уже говорилось, понятие служебного слова играет важную роль в японской традиции. Именные аффиксы словоизменения не предусмотрены, хотя именные словообразовательные аффиксы признаются.

Такая же трактовка всегда безраздельно господствовала и продолжает господствовать и в западной науке (где в области изучения современного японского языка всегда ведущую роль играла лингвистика англоязычных стран). Специалисты, привыкшие в своих собственных языках “довольствоваться словами, вовсе неизменяемыми”, без труда опознали такие же слова в чужом языке. В англоязычной традиции данные служебные слова либо называют *particles*, либо разделяют на *particles* и *postpositions*.

Сложнее обстояло дело в нашей стране. Русская японистика сложилась позднее, чем на Западе, и на первом этапе значительно зависела от западных подходов. Оттуда было заимствовано и представление о приименных служебных словах, формулировавшееся без доказательств. Эта трактовка встречалась во всех дореволюционных работах и дожила до 1930-х гг. Одним из последних трудов, где она присутствовала, была книга [13], опережавшая в некоторых отношениях свое время, но оказавшаяся традиционной по данному вопросу.

Основателем научного (а не господствовавшего до того чисто практического) изучения японского языка в России стал Е.Д. Поливанов. И он впервые выдвинул идею именного словоизмене-

ния в этом языке, сначала в ранней книге [14] на диалектном материале, а наиболее развернуто – в принадлежащих ему разделах грамматики [15]. Поливанов впервые поставил в теоретическом плане вопрос о границах слова в японском языке и решил его иначе, чем во всей существовавшей до него японистике.

Поливанов писал: “Для отличения слова от части слова, с одной стороны, и от словосочетания, с другой, – существует общий для всех языков критерий, выражающийся в следующей синтаксической характеристике слов: *слово есть потенциальный минимум фразы*, т.е. тот комплекс (– сочетание звуков и, может быть, единый звук), который может быть употреблен – при тех или иных условиях коммуникации – в качестве целой фразы, но который в свою очередь уже не разложим на части, способные фигурировать в качестве целой фразы” [15, с. 144–145]. Отсюда вывод: «Вот почему при делении японской фразы на слова у нас нет никакой возможности считать за отдельные слова ни суффиксы склонения (так называемые “частицы”)..., ни основы, стоящие перед этими суффиксами... – несмотря на то, что та же основа..., употребленная без суффикса, бесспорно, является самостоятельным словом» [15, с. 145]. Дополнительными признаками (в ранней книге они считались основными) признаются фонетические: акцентуационная несамостоятельность данных элементов, а для показателя именительного падежа также наличие в его начале звука *η*, невозможного в начале слова [15, с. 146–147]. Основываясь на всех этих признаках, Е.Д. Поливанов фактически отрицал существование служебных слов в японском языке, хотя некоторые классы служебных слов в традиционном понимании (союзы, модально-экспрессивные частицы) особо выделял как “синтаксические суффиксы”, заслуживающие “самостоятельного рассмотрения (на правах особой части речи)”, поскольку они присоединяются к разным частям речи и семантически связаны с целым предложением [15, с. XXXXII–XXXXIII]. Впрочем, в части грамматики, написанной другим автором, “синтаксические суффиксы” без всяких оговорок названы служебными словами [15, с. 124–131]. Однако и О.В. Плетнер, находившийся под сильным влиянием идей своего соавтора, последовательно исходил из наличия падежного склонения.

Сами по себе вышеприведенные критерии деления слов предлагались в те же годы не только Поливановым и не только в СССР. При этом они далеко не всегда столь последовательно применялись к изучаемым языкам, особенно к язы-

кам с устойчивой традицией деления на слова. И у Поливанова я не знаю работ, где они бы последовательно применялись к русскому языку, хотя и в японской грамматике он прямо называет русский предлог *без*, способный в некоторых случаях к самостоятельному употреблению, единицей, промежуточной между аффиксами и словами [15, с. 145]. Стало быть, русские предлоги, лишённые этой способности, Поливанов считал префиксами. Применение такого подхода привело бы к сложностям. Сколько дополнительных грамматических категорий пришлось бы выделить тогда для русских существительных? Зато для японского языка подход Е.Д. Поливанова хорошо совмещался с представлениями носителя русского языка. Ибо и для этого языка “слово являлось лишь в сочетании со словоизменительными элементами”, хотя все-таки Е.Д. Поливанов не мог не отметить частую возможность японской именной основы выступать самостоятельно.

Идеи Поливанова (даже в годы, когда он считался “врагом”) преобладали в советской японистике. Большую роль в этом сыграл Н.И. Конрад, долго остававшийся наиболее влиятельным исследователем Японии в нашей науке; он перенял эти идеи и распространил их на большой материал [16]. Они нашли отражение у всех наших японистов – теоретиков и практиков в 40–50-х гг.; особенно важны были грамматические очерки Н.И. Фельдман [17; 18].

Принял данный подход и А.А. Холодович. Приняв его последним, он и придерживался его дольше всех: вплоть до смерти в 1977 г. (см. посмертную книгу [19]), когда этот комплекс идей начал уже пересматриваться. Впрочем, если ядро данной концепции – падежное склонение – всегда устойчиво сохранялось, то в отношении других грамматических элементов трактовки могли меняться. Если Е.Д. Поливанов придерживался, как к ней ни относиться, строгой и последовательной концепции, то у некоторых других японистов аффиксы и служебные слова всё больше стали разграничиваться на основе русских переводов. “Синтаксические аффиксы” Е.Д. Поливанова, соответствующие русским союзам и частицам, уже всегда относились к служебным словам, а Н.И. Фельдман отнесла к отдельным словам и так называемые ограничительные частицы, вроде *dake* ‘только’, *nado* ‘и так далее’, хотя они вклиниваются между именной основой и падежными показателями. Получалось, что отдельное слово находится между основой и аффиксом, а это не допускается. Впрочем, такой подход (помимо перевода) мог основываться и на интуитивном представлении о том, что признание нескольких десят-

ков ограничительных частиц аффиксами привело бы к резкому усложнению японской парадигмы.

Точка зрения о наличии именного словоизменения в японском языке была на новом этапе отвергнута в начале 60-х гг. японистами нового поколения И.Ф. Вардулем и И.В. Головинным (см. особенно [20, с. 33–36]). Это не было простым возвратом к описаниям начала века уже потому, что их позиция не постулировалась, но аргументировалась. Согласно И.Ф. Вардулю, “из факта просодической несамостоятельности” японских падежных показателей (ганио) “можно заключить только, что ганио служебны” [20, с. 34]. Но зато “между предшествующим знаменательным комплексом и ганио вклиниваются служебные слова”, следовательно, ганио – послелого [20, с. 36].

Данная точка зрения к 70-м гг., когда сошло со сцены старшее поколение японистов, стала у нас преобладающей, она перешла и в учебную литературу. К настоящему времени идею падежного словоизменения в японском языке высказывает, кажется, лишь один специалист – А.В. Солнцев (см. [21]). При этом от выделения в японском языке падежа как грамматической категории отказываться не стали.

На основе чисто лингвистических критериев японские падежные и другие приименные показатели действительно оказываются отдельными словами, если только не понимать слово как фонетическое слово. Е.Д. Поливанов исходил из критериев, которыми не принято пользоваться для большинства языков, в том числе для русского. Но зато его подход хорошо совмещался с русскими интуитивными представлениями, в соответствии с которыми слово – прежде всего единица со сложной структурой, членимая на значимые части, а не членимые слова (по крайней мере, знаменательные), вроде *кино* или *завтра*, – исключения. Однако для носителей самого японского языка представления оказываются иными. Интуитивные представления носителей английского или французского языка также могли присутствовать, когда они выделяли японские падежные показатели как слова, но в данном случае их представления оказывались более адекватными.

Разумеется, не следует думать, что более адекватными не могут быть представления носителей русского языка. По-видимому, как раз такой случай – трактовка японских согласных фонем.

В отечественной японистике общепринято выделение для японского языка палатализованных и непалатализованных фонем. Как и в русском языке, оно проходит через всю систему согласных; по данному признаку в позиции начала слога проти-

вопоставлены все согласные фонемы, кроме йота (и гортанной смычки, выделение которой не общепринято). Перед *a*, *u*, *o* это противопоставление фонематично: *каку* ‘каждый’ – *кяку* ‘гость’, *гофу* ‘амулет’ – *гёфу* ‘рыбак’ и т.д. Примеры здесь приведены в наиболее известной и употребительной из кириллических транскрипций – “поливановской транскрипции”, предложенной Е.Д. Поливановым в 1917 г. В ней данное противопоставление отражено тем же способом, что принят для его передачи в русской орфографии. Первым систему фонем японского языка, включающую палатализованные, установил опять-таки Поливанов, хотя стихийно написания вроде *Кюсю* встречались и до него. И после этого в отечественной японистике никто не подвергал и не подвергает сомнению ни существование данного класса фонем, ни его отражение в транскрипции.

Однако в западной, по крайней мере, в англоязычной науке всё иначе. Это хорошо видно в самой традиционной, разработанной еще во второй половине XIX в. американским миссионером Дж.К. Хэпбёрном латинской транскрипции, до сих пор имеющей наибольшее распространение. В ней японская палатализация отражена двояким образом. Дело в том, что в японском языке мягкие губные и заднеязычные отличаются от парных твердых лишь палатализацией, но у зубных палатализованных также имеет место более заднее место образования. Хэпбёрн был практиком и не имел понятия о явлении палатализации, поэтому японские палатализованные он закономерно воспринял в соответствии с интуитивными звуковыми представлениями носителя английского языка: у зубных он ощутил лишь дополнительный, не имеющий, по Поливанову, фонемного характера более задний призвук (обозначив *s'* как *sh*; *t'* как *ch*; *dz'* как *j*), а губные и заднеязычные воспринял как сочетание с йотом (обозначенным как *y*). Отсюда в транскрипции *s'aku* ‘мера длины’ он записал как *shaku*, а *k'aku* ‘гость’ – как *kyaku* (ср. *сяку* и *кяку* у Поливанова). И так пишут по сей день, а большинство западных японистов на основании этой транскрипции описывают и японскую фонологию. Транскрипция Хэпбёрна недостаточно научна и в ряде других случаев, имея, однако, одно существенное преимущество, особенно в наши дни: она хорошо соответствует звуковым представлениям носителей английского языка.

Если говорить не о транскрипции, а о передаче японских слов в русском языке, то можно выделить три хронологических слоя. Это самый ранний, дореволюционный, когда транслитерировались написания западных языков, где тогда уже пользовались транскрипцией Хэпбёрна

(*джиу-джитсу*, *шимоза* – название взрывчатого вещества, использовавшегося японцами в Русско-японской войне), слой советского времени, когда японисты довольно строго соблюдали поливановскую транскрипцию, и самый новый слой, когда заимствования приходят, как правило, через английский язык. Отсюда разноречие: ср., с одной стороны, *джиу-джитсу* и *дзюдо*, где первый компонент по происхождению тот же самый, с другой стороны, появившиеся в последние годы дублеты вроде *суси* – *суши*, *Хитати* – *Хитачи*, иногда снимающие омонимию в языке-источнике: гора – *Фудзи*, но фотопленка – *Фуджи*.

С написаниями, происходящими из английского языка, бороться крайне трудно, но всё-таки звуковые представления носителей русского языка больше соответствуют наиболее простому и системному описанию японских фонем, чем представления носителей английского языка. (Подробнее о разных отражениях японской палатализации см. [22].)

Разумеется, я не хочу преувеличивать роль интуитивных представлений о “нормальном устройстве языка” в развитии лингвистики. Санскрит типологически близок к древнегреческому языку, но первичным в индийской традиции (в отличие от античной) было именно понятие корня. Идеи о слове как потенциальном минимуме фразы выдвигал не только Е.Д. Поливанов в СССР, но и Л. Блумфилд в США. И всё-таки, когда мы видим, что в России плохо приживается грамматика составляющих, а в странах английского языка грамматика зависимостей, что падежное склонение обнаруживалось только в русской японистике, а западная наука не склонна выделять для японского языка твердые и мягкие согласные, то можно прийти к выводу о существенности этих интуитивных представлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов В.М. О сопоставительном изучении лингвистических традиций (к постановке проблемы) // Вопросы языкознания. 1990. № 2.
2. Алпатов В.М. История лингвистических учений. Издание 4-е. М., 2005.
3. Токиэда Мотоки. Основы японского языкознания // Языкознание в Японии. М., 1983 (оригинал 1941 г.).
4. Тестелец Я.Г. Введение в общий синтаксис. М., 2001.
5. Алпатов В.М. Памяти Альфреда Наумовича Журинского // Восток. 1992. № 2.

6. Знак. Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике. Памяти А.Н. Журина. М., 1994. (От авторов).
7. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // Новое в лингвистике. Вып. 5. М., 1970 (оригинал 1963 г.).
8. Холодович А.А. К типологии порядка слов // Филологические науки. 1966. № 3.
9. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938 (оригинал 1934 г.).
10. Robins R.H. A Short History of Linguistics. Fourth Edition. L.; N.Y., 1997.
11. Головастиков А.Н. К проблеме психологической адекватности моделей русского словоизменения // Тезисы рабочего совещания по морфеме (ноябрь 1980). М., 1980.
12. Алпатов В.М. Структура грамматических единиц в современном японском языке. М., 1979.
13. Холодович А.А. Синтаксис японского военного языка (Язык военной документации). М., 1937.
14. Поливанов Е.Д. Психофонетические наблюдения над японскими диалектами. Пг., 1917.
15. Плетнер О.В., Поливанов Е.Д. Грамматика японского разговорного языка. М., 1930.
16. Конрад Н.И. Синтаксис японского национального литературного языка. М., 1937.
17. Фельдман Н.И. Грамматический очерк // Русско-японский словарь. М., 1950.
18. Фельдман Н.И. Краткий очерк грамматики современного японского языка // Немзер Л.А., Сыромятников Н.А. Японско-русский словарь. М., 1951.
19. Холодович А.А. Глагол в японском языке // Холодович А.А. Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
20. Вардуль И.Ф. Очерки потенциального синтаксиса японского языка. М., 1964.
21. Солнцев А.В. Аффиксы в современном японском языке. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. М., 1986.
22. Алпатов В.М. Сасими или Сашими? // Фонетика и нефонетика. К 70-летию Сандро В. Кодзасова. М., 2008.